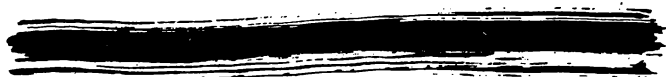


Our Tybours

Cyrtobae
okas



Виктор Суриков



Суровое
окало

СТИХИ

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1983

Вторую книгу Олега Чухонцева «Слуховое окно» составили новые стихи поэта, большинство из которых было опубликовано в периодике; вошел в нее и ряд стихотворений его первой книги «Из трех тетрадей».

Художник ГЕННАДИЙ ТРОШКОВ

Слух в кровле, слуховое окно,
хотя тут нечего слушать

(Даль. Толковый словарь)

КОГДА ЗАПЕВАЕТ БОР

Когда, распушив хвостича,
звонят на заре леса,
и каждая ветка свищет
на разные голоса,
как Мстёра гудёт с Мещерой
щебечущий размахай,—
что это, не пенье ль бора? —
нет, это ликует май.

Когда корабельным строем
сосновый скрипит народ,
и волны бегут по хвоям
и валят верхи вразмет,
и валятся шишки оземь,
и шум с поднебесных бездн,—
что это, не пенье ль сосен? —
нет, это еще не песнь.

Когда ж частокол скрипучий
по щиколотку в снегу,
и тучи листвы колючей
как замерли на бегу,
когда не поют ни птицы,
ни ветер, но, как топор,
мороз-колотун резвится,
тогда

запевает

бор.

Мы сосны, но мы, как люди,
стеною встаем живой,
суками — руками — грудью —
порукою круговой,
и если нас точит стужа
пилою и топором,
мы тянем струну все туже,
нас валят — а мы поем.

Неслыханна эта доля,
живительная беда —
вытягивать поневоле
мелодию в холода,
и слаженней нет артели:
пошатываясь едва,
вынянчивать в колыбели
и музыку, и слова.

А за полночь на мгновенье,
как весть, по ветвям пройдет
не шелест, не дуновенье,
но трепет, как будто тот,
кто в дебрях провеял белых
каким-то предвечным сном,
дыханьем своим одел их
в безветрии ледяном.

* * *

Я сойду на последней странице,
где березы обступят кругом,
где взлетит полуночная птица,
капли с ветки сбивая крылом.

Я войду в край боярской измены,
в ту страну, где секира и мох...
Вы до мозга костей современны,
реставраторы темных эпох.

Где ваш дом? У чужого предела
запрокинется в ров голова.
И лежит безымянное тело.
И в зенит прорастает трава.

Красна-девица в черном платочке.
Чем помочь? Не отпишешь пером.
Это, как говорится, цветочки,
то-то ягодки будут потом!

И не вихрь долетит до столицы,
а глухой человеческий вздох...
Я сойду на последней странице,
где безмолвие глуше, чем мох.

О история — Дело и Слово, —
славословья тебе не к лицу.
Я живу. Это право живого —
имя дать и творцу, и глупцу!

ПРОЩАНИЕ СО СТАРЫМИ ТЕТРАДЯМИ.

или Размышления перед трескучей печью и бутылью домашнего вина в старом деревянном доме в Павловском Посаде, где автор родился

Боюсь не вздора, а рутины,
что ни начну, то с середины
и кончу, верно, чепухой.
Не знаю, время или возраст,
но слышу я не лес, а хворост,
не славий щелк, а хруст сухой.

Пора проститься со стихами
и со вторыми петухами —
а третьи сами отпоют, —
с ночными узкими гудками,
с честолюбивыми звонками
под утро, когда их не ждут.

При свете дня яснее проза:
сигнал ли зоркий с тепловоза —
предупредительный гудок,
иль родниковый бульк хрустальный,
как позывной второй сигнальной —
в бутылках забродивший сок.

А впрочем, для чего детали,
когда глаза не суть видали,

а то, что виделось глазам,
в чем опыт думал убедиться,
и не кивай на очевидца,
который верит: видел сам.

А что он видел: луг да ели,
когда торфа под ними тлели,
или прозрел, как тот герой,
кто меж печатными строками
читал духовными глазами?
И я так паялился порой.

Пора покончить с этим бредом,
с двойным — орлом и Ганимедом —
полетом вечного пера,
и пересечь за стол с кровати,
(оно для домоседа кстати),
за «Эрику» засесть пора.

Одна беда: садясь за прозу,
не тяпнешь водочки с морозу
под малосольный огурец.
— Позвольте, где зима, где лето? —
одернет критик, а с поэта
и взятки гладки, наконец.

Не говорю уж о комфорте:
когда ты в форме, хоть на черте
езжай — и тряска нипочем.
И что за путь: ухаб ли, кочка —
неважно! — приживется строчка,
а с ней и улица — твой дом.

Так вот: ходил и я в поэтах,
не очень, может быть, пригретых,

но и не вдавших в нищету.
И что же? Горячо-морожно!
Попробуй — жить куда как можно,
но петь уже — дерет во рту...

А нет бы попросту да быстро
стихом свободным строк по триста
пилить — и, смотришь, капитал.
Что делать, мы консервативны,
как в век пилюль презервативы
(так Вознесенский бы сказал).

Ах, оборотистый народец —
поэты! Бедный оборотец
и тот пускаем в оборот:
бросаешь камешек соседу,
а он булыжник — мельче нету, —
как говорится, в общий счет.

Дудел и я на самоделке,
но повезло: с чужой тарелки
кусков не брал, и сладкий сон
не берedit воспоминанья,
как будто на предмет изданья
звонит редактор Фогельсон.

Простимся с громкими мечтами,
и пусть токуют в фирмиае
соперники по ремеслу —
пусть их! — а мы, как в поговорке,
и от махорки будем зорки,
покурим под шумок в углу.

Не угождать. Себе дороже.
Мы суше стали, но и строже,
и пристальней наш поздний свет.

Сойдемся жить и чай заварим,
а постучит какой татарин:
— Вы обознались. Ваших нет.

А впереди такие сроки,
такие дальние дороги,
по осени такая тьма —
что и не сто́ит... Бога ради!
Опустишь голову в тетради,
поднимешь — а уже зима.

Зима, и жизнь опять вначале,
и там, где яблоки стучали,
трещит морозец молодой,
струится дым, играет холод,
глядишь — а ты уже немолод,
и лед звенит в ведре с водой.

А вдалеке гудок прощальный,
все тот же, долгий, inferнальный,
и синий-иссиня снежок.
Ведро поставишь ледяное,
стоишь — и голос за спиною:
— Ты что-то мешкаешь, дружок.

— Да-да, иду... — За поворотом
я оглянусь — но никого там,
и в колком инее, как дед,
гляжу в вечерние потемки,
а там ни дыма, ни колонки.
Ошибка вышла. Наших нет.

Вот что увидится... Однако!
Завыла на дворе собака
вниз голову, говорят.

Чур нас! — раздвинем половицы
и вниз сойдем, где сидр хранится
и зеленеет маринад.

Не так ли, высветив бутылки,
и Дант с Вергилием сходили
на круги Ада с фонарем?
Не так, отнюдь! По вере русской
достанем выпивку с закуской
и всех во здравье помянем.

По духу близких и по крови
помянем всех на добром слове,
кому из мерзлых ям не встать.
А помнишь, как — мороз по коже! —
кричал отец, берясь за вожжи:
— Ну, открывай ворота, мать!

А что там: родина ль, чужбина —
кто знает! — дом ли, домовина?
Ездок привстал — и конь несет.
Вот так и я: свое итожу,
продолжить захочу — продолжу,
а надоест — два пальца в рот!

Не первый год живем на свете,
а все нескладно: свищ в сюжете,
и с флюсом, стало быть, финал.
С прощанья начал, а весельем
кончаю, как бы новосельем
на этот свет — и кончен бал!

Да уж и ночь. Вино допили.
Теперь как в сказке — жили-были —
в постель — и кубарем в провал.

На том и мы — не знаю, кстати ль? —
с тобой расстанемся, читатель,
чтоб ты, как автор, не зевал.

Нет, наше ложе без обмана,
а что да как — была б сметана,
и масло как-нибудь собьем.
Была сметана, будет масло,
а если что кому не ясно,
я это объясню потом.

ПОСЛЕВОЕННАЯ БАЛЛАДА

- Привезли листовое железо.
- Кто привез? — Да какой-то мужик.
- Кто такой? — А спроси живореза.
- Сколько хочет? — Да бабу на штык.
- И хорош? — Хром на оба протеза.
- А язык пулемет. Фронтовик.
- Да пошел!..

— Привезли рубероид.

- Изразцы привезли и горбыль.
- А не много? — Да щели прикроет.
 - Ты вдова, говорит, я бобыль.—
 - А глазами так и буровит.
 - Ну-ка, дьявол, держись за костыль,
а не то...

— Привезли черепицу.

- Убирайся! — Задаром отдам.
- Разреш, говорит, притулиться
инвалиду ко вдовым ногам.
- Я не евнух, и ты не девица,
ан поладим с грехом пополам.

Дом стоит. Черепица на крыше.
В доме печь: изразец к изразцу.

Кот на ходиках: слушайте, мыши.
Сел малыш на колени к отцу.
А дымок над трубою все выше,
выше, выше — и сказка к концу.

Ах, не ты ли — какими судьбами —
счастье русское? Как бы не так!
Сапоги оторвало с ногами.
Одиночество свищет в кулак.
И тоска моя рыщет ночами,
как собака, и воеет во мрак.

* * *

Седой учитель начальных классов в пиджаке с заложеным рукавом рассказывает о княгине Ольге и ее хитроумной мести древлянам, а я гляжу за окно, где крыши косым отсвечивают огнем и голуби уличные, кружась, над городом носятся деревянным.

Когда ж это было? Страшно представить: тысячелетью тому назад, а любовь, разорванная войной, верна все так же и вероломна, и голуби, бедные мировестники, все так же в гнезда свои летят, и Искоростень все еще горит, и зарево буднично и огромно.

И пол-Европы лежит в руинах, но, хоть все зарева погаси, неугасимое что-то брезжит, и синевою исходят лица, и та княгиня: — Си первое вниде в Царство Небесное от Руси, — и однурукий, и мы со всеми — в одном походе, и он все длится.

А палец выбрал уже цитату, но указующему персту так мало, видимо, было карты, а зримый образ так исковеркан, что длань, продолженная указкой, пронзила пикую пустоту:

— Не в мести правда, а в искупленье! — и вышел где-то
под Кенигсбергом.

И было тихо, но где нам было постичь всю долгую скорбь
его?

Для всякой правды свой час, и ныне в ту даль я всматри-
ваюсь из этой.

И он свидетель, и я свидетель — мы все свидетели, но
чего?

Чего-то высшего мы коснулись своей бедой и своей
Победой.

Ведь даже тот, кто звездой отмечен, помечен свыше еще
крестом,

и кровь, пролитая в правой битве, все кровь — и ждет
своего ответа,

но где последнее воздаянье — не в рукаве ли его пустом? —
где память сердцу и утешенье — не эта орденская ли
мета?

И я, поживший на этом свете и тоже тронутый сединой,
я вижу сердцем десятилетним тот класс и строгие наши
лица,

и как молчали мы потрясенно, виной настигнутые одной,
и друг на друга взглянуть не смели, боясь увидеть в них
те зарницы.

ПОЗАВЧЕРА

1. Соседка

По-дружески, без стука
ходил я к ней нередко.
Была она толстуха,
предобрая соседка.

Здорова ли, болеет —
а поделиться не с кем.
...Средь бела дня белеют
на окнах занавески.

Сидит у ней Никола,
хмельной женатый грузчик.
Играет радиола
в углу среди игрушек.

Ой, тонок слух у стенок,
у стенок у фанерных.
Ой, хахали у девок,
у девок не у первых.

От скрипа, от позора,
от злого наговора —
играет радиола,
играет радиола!

А дети где? А дети —
в песочке, в куче сора —
забыли все на свете.
Постой же, радиола!

Поймут ли бабье горе
и мамкины секреты?
А знаю я другое,
а помню я не это.

Ей помнится самой же —
сама в беде утешит,
поможет, если может.
Нет, просто люди брешут!

Она ведь помнит Родьку,
лелеет Родиона!
...Буравит штопор пробку,
играет радиола.

А утром снова скажет:
— Здорово! Как живется? —
Письмо его покажет,
покажет, отвернется.

Стоит неловко, боком,
у приоткрытой двери,
стоит, как перед богом,
в которого не верит.

2. Семен Усуд

— Во как! — обычно скажет Семен Усуд, если вдруг кто-то где-то отколет штучку, выпятит губы, словно найдет колючку.

— Я так и знал! — и сглотнет ее, как верблюд.

Что ни случится: в глаз попадет ресница, и не ему, а соседу, на сеновал малый затащит девку, а та девица, — скорбно надует губы: — Я так и знал!

Все-то он знает, все-то он глазом точит, словно нечистая сила ест мужика; встанет перед забором, если доска плохо прибита: — Во! — и доска отскочит.

Словно ребенок, а по летам старик, не приложил он рук ни к чему и — дальний — ходит среди людей, и худой кадык, как у верблюда, пришлою дышит тайной.

Глянешь — куда его черти с утра несут? — кепку надвинет и чешет себе, сердешный, мучимый любопытством — иль скукой здешней? — кто его знает. — Куда ты, Семен? — У суд.

Тем и живет. А кто? А откуда родом? — тайна и есть. Работал ли где когда? Словно однажды вышел с другим народом и по пути отстал и забрел сюда.

Сроки ли выйдут, на́ душу ль камень ляжет как облегченье, войдет ли под карк ворон Высший Судья: — А ну-ка скажи, Семен, не за себя, за те х! — и Семен все скажет.

Как-то встречаю осенью — он идет
с сумкой пустой,— и вспомнил он: «В тридцать третьем
я убежал. В деревне был недород.
Нам-то еще повезло...— И добавил:— Детям...»

«Во как!» — потом сказал, помолчал чуток
и, не простясь, пошел городской пустыней,
где на деревьях тающий тенькал иней
и под ногами мерзлый хрустел песок.

Я еще вижу, как он идет по скверу,
как он уходит, тая худой спиной...
Господи мой, не этому ли примеру
следовать наказал ты в страде земной?

Не потому, что дни его незлобивей,
чем у других, а ночи, быть может, злей,
не потому, что духом своим бедней,
а ремеслом да промыслом нерадивей,

а потому, что в мире больших невзгод
он, как дитя большое, в обидах страшных
не по обидам, а по вине живет;
больше того, врагов возлюбил вчерашних,—

может быть, он, когда выйдет его черед
перед лицом творца оправдаться в судьях,
хоть бы за то, что прожил верблюдом в людях,
в царство небесное как человек войдет.

ПРОХОДНАЯ КОМНАТА

Свет мой поздний — моя проходная,
дай уснуть на твоей раскладушке,
где горячей щекой припадаю,
пропадаю в горячей подушке,
где за дверью, запарившись к ночи,
спит убитый работой рабочий,
а напротив, скучая без денег,
спит убитый бездельем бездельник.

В малом мире, подверженном буре,
в тесной кухне, где слухи да вздохи,
постигаю на собственной шкуре
неустрой коммунальной эпохи:
есть друзья, а в душе недоволен,
одиночеством, может быть, болен;
есть враги, а в душе наболело,
может быть, и вражда надоела.

И однажды наступит расплата,
и тогда, как куска побирухе,
станет совестно доброго взгляда
одинокой и бедной старухи,
и увижу, что нету богатства,
кроме нашего бедного братства,
нету платы иной, кроме хлеба,
нету правды другой, кроме неба!

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

...А в эти дни горели за Посадом
болота, и стояла мгла в Москве,
и скрип травы, желтевшей самосадом,
был жёсток при неслышимой листве.

А со степей казахских и каспийских
шел зной — и было небо как в огне.
Душа болела о родных и близких,
о матери я думал, о жене.

Нет, не любовью, видно, а бедою
выстрадаваем мы свое родство,
а уж потом любовью, но другою,
не сознающей края своего.

Да что об этом! Жизнью и корнями
мы так срослись со всем, что есть кругом,
что кажется, и почва под ногами —
мы сами, только в образе другом.

Я вижу те места... Теперь там пусто.
Поселок брошен, а погост сгорел.
Могил не стало, и такое чувство,
как будто я вдвойне осиротел.

И где моя судьба в судьбе народной,
и что со мною станется и с ней —
не разберешь: так едок дым болотный!
Леса горят на родине моей

2

А злоколючий пух чертополоха
кружился над разрытым пустырем,
где в котловане новая эпоха
вбивала рельсы под высотный дом.

И ухал молот по стальной опоре,
а в стороне, когда молчал металл,
за насыпью, как за окопом в поле,
контуженый кузнечик стрекотал.

И я вовек не чувствовал так жгуче,
как горяча непавшая роса,
как тяжела непролитая туча,
на чем стоят железные леса.

Ну что еще, какую тяжесть надо
перетерпеть в судьбу и ремесло,
чтоб всё — от инженерного снаряда
до божьей твари — смыслом проросло?

* * *

Черемуха из-под дождя,
пятилепестковая одурь,
тебя я увидел, поодаль
от ярких рядов проходя.

Черемуха? Боже ты мой!
Откуда? С какого вокзала?
Какая нужда завязала
твой ворох суровой тесьмой?

Зачем ты торчишь на торгу,
как девочка в белой панаме?
Цвела бы себе на поляне,
на майском цыплячем лугу!

Да где там, на торг городской
тебя угораздило тоже.
О, как мы с тобою похожи
своей несуразной тоской!

Я грусти не знал бы весной,
а этой весной и подавно,
когда бы не дух твой так явно,
твой дух не витал надо мной.

Он словно бы в чем-то винил,
и, сколько я шел по Садовой,
черемуховый, черемховый —
все время вдогонку дразнил...

ВЕСНА НА КЛЯЗЬМЕ

(По наброску Левитана)

Стояла большая вода.
Она затопила низины,
где таяли редкие льдины
и плыли, не зная куда.

Потом добралась до лугов
и дом под холмом захватила,
оставив трубу и стропила
поодаль чужих берегов.

Смеркалось, и низкий туман
тянулся с Оки и Онеги.
Казалось, российские реки,
разлившись, пошли в океан.

И в храме, в дрожанье огней,
в мерцаньи котомок пасхальных
свидание близких и дальних
читалось ясней и ясней.

И в полночь, лишь колокола
открыли небесные сферы,
я понял: возжаждала веры
душа, не избегшая зла.

И вправду — неисповедим
путь блага в кругах мирозданья,
хотя суета всепознания
и правила веком моим.

Но я, сознавая предел,
провидел иную свободу,
покуда по крестному ходу
шел в ночь и на свечи глядел.

И чудо свершилось сполна:
к рассвету или воскресенью
увидели новую землю
и — ахнув — узнали: весна!

И спала вода, и траву
покрыла белесая пленка,
как мокрую кожу теленка,
рожденного в темном хлеву.

И вот уже вниз по реке,
по взгорьям и падям весенним —
шла пасха застольным весельем
со сдобной ковригой в руке.

И день, освященный впотьмах,
светился во славу творенья,
и радостно, как откровенье,
горел поцелуй на губах!

* * *

Нет ничего ужасней вырожденья!
Я помню, как вблизи нагроможденья
развалин и пещер Чуфут-Кале.
внизу, на дне гранитного колодца,
я встретил дом, похожий на уродца
или на склеп, придавленный к земле.

Была весна, но не было бесплодней
ее дыханья. Словно в преисподней,
в ущелье острый чад стоял столбом.
Был замкнут мир: направо прел свинарник,
налево цвел кладбищенский кустарник,
а между ними инвалидный дом

дымил окрест. Он был кирпичной кладки,
хотя, казалось, плод иной догадки,
матерьялизовавшийся фантом.
И я подумал: вот изнанка жизни.
Какая нам тщета в степной отчизне!
Пройдут года, и мы как дым сойдем.

Тогда зачем и войны, и набеги,
аланы, караимы, печенеги,
раскат повозок, цоканье подков —
чтоб слышать ныне в каменной долине
лишь скрип протезов, да тоску полыни,
да ветрянную сыпь известняков?

Нет, легче сгинуть в нетях монастырских,
где нет ни дальних помыслов, ни близких,
где бог среди невидимых тенёт,
чем в доме, где казенная свобода,
где, кроме доживанья, нет исхода,
где неизвестно, чей пришел черед.

И мы туда же?.. Как остановиться
у бездны, из которой дым клубится?
Не знаю. Что заигрывать с судьбой!
Коль срок придет расплачиваться кровью,
не приведи господь под эту кровлю,
под этот кров с дымящею трубой!

* * *

Пусть те, кого оставил бог,
цветут и пыжятся в гордыне,
пускай бобы у них как дыни,
где у других — сухой горох;

пускай берут за семерых,
пусть сам-десять гребут лопатой,
пусть не уступят и десятой,
да не осудим их — пусть их!

Но тот, кто тянет на горбу
свою недолю — и выносит,
кого косою неправда косит,
а он лишь закусил губу;

кто нищ, бездомен и гоним,
он, прах гребущий по дорогам,
как Иов, не оставлен богом,
но ревностно возлюблен им.

ПОВЕСТВОВАНИЕ О КУРЬСКОМ

Кладу перст на уста, удивляюсь и плачу...

Еще Полоцк дымился от крови и смрада,
еще дым коромыслом стоял в Слободе,
еще царь домогался злодейств и разврата,
а изменник царев, как на Страшном суде,

уже смелую трость наострил на тирана:
— Аз воздам! — и пришпорил язвительный слог,
и на угольях, дабы озлить Иоанна,
как на адском огне, пламя мести зажег.

О, так вспыхнула речь, так обрушилось слово,
что за словом открылся горящий пролет,
где одни головешки чернеют багрово
да последняя голь на избитье встает.

Вот он, волчий простор! Несть людей да людешек,
но безлюдье гнетет, как в ногайских степях:
тот испанский сапог натянул — аж не дышит,
этот русский надел — ан и тот на гвоздях!

Все остро — нет спасенья от пагуб и пыток,
все острее тоска, и бесславье, и тьма,
а острее всего — это малый избыток
оскорбленной души и больного ума.

Но да будет тирану ответное мщение
и да будет отступнику равный ответ:
чем же, как не презрением, воздать за мученья,
за мучительства, коим названия нет?

Ибо кратно воздастся за помыслы наши
в царстве том. Я испил чашу слез и стыда.
А тебе, потонувшему в сквернах, из чаши
пить да пить да не выпить ее никогда.

А тебе, говорю, потонувшему в сквернах,—
слышишь звон по церквам, он сильней и сильней —
за невинно замученных и убиенных
быть позором Руси до скончания дней!

Князь глядит, а в лице у него ни кровинки
и такая зола, что уж легче бы лечь
головой на неравном его поединке,
чем — живым — на бесчестие душу обречь.

Только вздрогнул — взмахнула дурная ворона
опаленным крылом, и указывал взмах —
уповать на чужбину, читать Цицерона,
читать опальных друзей и развеяться в прах.

А когда отойти, то оттуда услышать,
а когда не услышать, то вспомнить на слух,
как надсадно кричит над литовскою крышей
деревянный резной ярославский петух.

КОНЧИНА ИВАНА

Был знак: крестообразная комета
чертила, рассекая небосклон,
багровый след — и предвещало это
погибель рода и раздор времен.
А царь смердел. Шло воспаление в теле,
зловонье источая, и недуг
сводил с ума: казалось, что смердели
все язвы государства, все вокруг.
Астрологами был уже предсказан
его конец, и трепетал Иван.
Но в совести, изъеденной проказой,
он обещал казнить их за обман,
да и не как-нибудь, а на поджаре.
Но ужас душу стискивал, да так,
что холодело в жилах, и бояре
пугались наущенья, ибо мрак
стоял великий. Слухи по столице
ползли все глуше, и роптал народ,
и ждали заключенных из темницы,
и по дорогам рыскал всякий сброд,
и ждали новых смут, и потрясений,
и тишины, и мора, и войны...
А на подворье таял день весенний,
и были стаи галочки слышны,
и распушались вербы по-кошачьи,
и юркали между камней ручьи
как ящерицы... Так или иначе,

Ивану полегчало. Две свечи
на сумерки зажгли. Царь принял ванну
и приказал раскладывать поджар.
— Но день не кончен, — возразил Ивану
боярин Бельский, со свечей нагар
снимая, и к игре придвинул столик.
И что-то у царя зашлось внутри,
прилив свирепства или приступ колик,
он потянулся к королеве, и —
рука упала. Вытаращив бельма,
Иван, глотая воздух, задрожал
и рухнул навзничь... Господи, скудельна
юдоль земная... На одре лежал
в предсмертных корчах, в судорогах адских
раб божий, Государь Всея Руси,
Великий князь Московский, царь Казанский
и Астраханский, — господи, спаси
богоотступника! — умом растленный,
упырь на троне, истязавший плоть,
детоубийца, — огненной геенной
за преступленья. покарай, господь!
...И сына звал, не зная разрешенья
от совести. И черным был накрыт.
И сотворил молитву постриженья
над издыхающим митрополит.
И на исход души во всех соборах,
во всех церквах, со всех колоколов
ударили, и запалили порох,
и загудели сорок сороков.
А он был тих. Остекленев, застыли
зрачки его... Но страшен был монах,
почивший в бозе!.. И глаза закрыли.
И затанули шелк на зеркалах.

SUPEREGO

I

...и тогда я увидел: распята луна
бледным призраком на крестовине окна.
Тень распятия чернела на белом полу.
Было тихо, но перед иконой в углу,
издавая какой-то воинственный звук,
на невидимой нитке спускался паук.

«Это он, — я весь похолодел, — это он!»
Ужас крови моей — трилобитный дракон!
Гад ползучий, который почувствовал сдвиг,
из безвременья как привиденье возник
и, быть может, предчувствуя сдвиг временной,
из прапамяти хищно навис надо мной.

Что он думал, убивец? Глазаст и землист,
я лежал, трепеща как осиновый лист.
Я лежал у стены и, прижатый к стене,
знать не знал, что проклятье лежало на мне.
И, как жар из печи, как зола из огня,
я смотрел на него — он смотрел на меня!

Я не смерти боялся, но больше всего —
бесконечности небытия своего.
Я не к жизни тянулся, но всем существом
я хотел утвердиться в бессмертье своем.

Но мучительно мучимый смертной тоской,
я не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Я лишь пальцем попробовал пошевелить,
как почувствовал: дернулась ловчая нить,
и к губам протянулись четыре сосца,
и подобье усмешки подобье лица
исказило, и судорогою свело
студенисто-трясучее тело его.

Я отпрянул — хоть некуда! — и в тот же миг
он неслышно ко мне прикоснулся — и крик
омерзенья потряс меня словно разряд.
И ударило где-то три раза подряд.
Я очнулся — и долго в холодном поту
с колотящимся сердцем смотрел в темноту...

II

Било три. Ночь была на ущербе. В окне
неизбежность стояла стоймя как конвойный.
Что за мысль тяготилась собою во мне,
я не знал и пугался догадки невольной.

Между тем у противоположной стены
беглый маятник маялся в сумраке спертом.
Были сумерки длинны, как были длинны
списки выбылых при Иоанне IV.

Что-то брезжило — то ли предчувствие зла,
что-то виделось — то ли предвестье распада:
видно, время распалось и юность прошла,
так прошла, что и памяти стало не надо.

Так прошла, что в беспамятстве тучи листья
неподвижно клубились подавленной мощью.

и, еще не развиднясь, кривая Москвы
уходила куда-то за Марьину рощу.

И в беспамятстве лета на Новолесной
фонари так тускнели, что делалось ясно:
мое тело — безвольное — не было мной,
и душа — малодушная — мне не причастна.

Да и вся моя жизнь, ненавистная мне,
так, казалось, чужда была, как сновиденье:
я лежал у стены и, прижатый к стене,
кожей чувствовал жаркий озноб отчужденья.

Что же это, предвиденье или недуг
тяготились ошибкою неотвратимой?
Или плановый робот — железный паук —
деловито опутывал мир паутиной?

Все равно! Уже буква бледным огнем
проступала в окне, словно след на копирке,
и железобетонный пейзаж за окном
занимался, и пахли со стройки опилки.

Все равно! Все равно! Ожиданьем труда
занималась душа — и не видела дела.
И гудели — почти по-людски — провода,
но сквозило и в них ощущение предела.

И всего один сдвиг — и запахнет бедой.
О, как хочется жить! Вот уж поднят высоко
Михаила Архангела меч золотой.
Не убий. Дай отсрочку. Помедли. Постой.

III

Нету выбора. О, как душа одинока!

* * *

«Амурские волны» играет оркестр духовой.
Отсохла замазка, и стекла дрожат от напора.
Как весело дуть от избытка в трубу иль гобой
и слух напрягать, подчиняясь рукам дирижера!

А свет полосатый под окнами синь и румян.
А в клубе милиции с фикусом каждая кадка.
Как весело бить колотушкой в большой барабан
и в малый стучать на предмет озорства и порядка.

Не все же свистеть или пушку таскать в кобуре,
пора и о духе подумать, о чем-нибудь прочном,
о том, например, как скрипит постовой во дворе
снежком деревенским, о совестном гнете полночном.

Не тяготы давят, а легкая тяжесть одна,
мелодия, что ли, которую на сердце носим?
С ней, может быть, тесен ремень и труба солона,
но небо другое, и воздух остер и морозен.

Ах, Горлов тупик, с хрипотцою трубящий рожок,
крута наша будущность, как пугачевская башня!
Крута, тугоуха. А выдох так чист и высок —
вот-вот оборвется... И весело как-то, и страшно...

ГОЛОСА

1. Каховский

Наше дело табак,
коль из грязи да в князи
вышло столько рубак,
как собак на Кавказе.

Вышло столько хапуг
из холопов да в бары,
аж спохватишься вдруг:
что за иго — татары?

У, татарская Русь,
самодурство да барство!
Я ли спицей сорвусь
с колеса государства?

Ты ль ударишь лицом
в грязь, в повальную слякоть,
дабы перед концом
невозможность оплакать,

друг мой? Время темно
и неисповедимо:
рано ли — все равно,
поздно ли — все едино.

Наше дело табак!
Ну так что же — покурим,
подымим натошак,
посидим, потолкуем,

друг мой! Жалость не в том,
что надежды хороним.
Лишь бы жечь, а потом —
сгинь хоть дымом холодным.

Или пеплом пади
в холодеющих высях,
только не отплати
малодушьем за вызов.

И над хмурой страной,
над равниной повальной —
промельк жизни иной
вспыхнет в памяти дальней...

2. Чаадаев на Басманной

Как червь, разрезанный на части,
ползет — один — по всем углам,
так я под лемехами власти
влачусь, разъятый пополам.

В парах ли винного подвала,
в кругах ли просвещенных дам
влачусь — где наша не бывала!
А между тем — ни тут, ни там.

Да я и сам не знаю, где я,
как будто вправду жизнь моя
загадка Януса — идея
раздвоенности бытия.

Когда бы знать, зачем свободой
я так невольно дорожу,
тогда как сам я — ни иотой —
себе же не принадлежу.

Зачем в заносчивом смиренье
я мерюсь будущей судьбой,
тогда как сам я — в раздвоенье —
и не бывал самим собой.

Да что я, не в своем рассудке?
Гляжу в упор — и злость берет:
ползет, как фарш из мясорубки,
по тесной улице народ.

Влачит свое долготерпенье
к иным каким-то временам.
А в лицах столько озлобленья,
что лучше не встречаться нам.

3. Батюшков

Как табак доставал, да кальян набивал,
да колечки пускал в потолок.
На атласе курил, по шелку рассыпал
кучерявый со сна хохолок.

То ли птахой сновал, то ли носом клевал
на подушках да пуховиках.
— Как ты, батюшка, спал, где лежал-почивал?
— В облаках, — говорит, — в облаках.

А как вышел табак, да потеря атлас,
да беспечный развеялся дух,
глянул: солнце колом — а пустыня для глаз:
то ли свет, то ли разум потух.

Видит: в тучах просвет — ан осклизлый провал;
видит: ангел — ан черви в глазах.

— Где ты, Батюшков, был, где всю жизнь пропадал?

— В небесах,— говорит,— в небесах.

* * *

...И уж конечно буду не ветлюю,
не бабочкой, не свечкой на ветру.

— Землей?

— Не буду даже и землю,
но всем, чего здесь нет. Я весь умру.

— А дух?

— Не с букварем же к аналою!
Ни бабочкой, ни свечкой, ни ветлюю.

Я весь умру. Я повторяю: весь.

— А божий дух?

— И он не там, а здесь.

ФРЕСКИ

1

Когда пришло последнее свиданье,
сказал Учитель: — С вами я хотел
есть пасху прежде моего страданья,—
и вечерю подробно оглядел.

Вокруг на козьих шкурах возлежали
ученики, и свет от мошкары
дрожал и мерк, и отсветы дрожали,
и умысел таился до поры.

Но не укрылось от лица господня
и тени лжи. И возмутился он:

— Воистину, один из вас сегодня
меня предаст! — Тогда со всех сторон:

— Не я ли? — стали спрашивать. Иуда
при этом тоже, затаившись, ждал.

А он сказал: — Что делаешь, Иуда,
скорее делай! — и кусок подал.

И бес вошел в Иуду, и в гордыне
Иуда принял хлеб и вышел прочь.

А он сказал: — Да сбудется отныне,
что должно сбыться! — А стояла ночь.

Такая ночь зловещая стояла,
что зренье слепо, и душа его —
одна — тоской великой тосковала
от страшного сознания своего...

Он чашу взял — и кровь с вином смешалась.
И дал от поминального стола.
И пил, как все, пока душа решалась
на подвиг свой. И жажда губы жгла.

2

...и почему-то вижу я
не темный двор, где сгорбленные тени
теснящихся приспешников и слуг
глядят в костер, не в одеревененье
в огонь протянутые кисти рук,
не птичий крик, не всматриванье чье-то.
«И ты был с ним!» — не клятвенный отказ,
не даже плач, покуда за ворота
он выходил, не подымая глаз, —
не это, нет, но в глубине провалов,
в глазницах, где набрякли небеса,
я вижу только два белка кровавых
и дыбом вниз подъятые власа.

* * *

Ночью проснется и в стену глядит.
Дышит — не дышит. Как мертвый лежит.

Каплет на кухне. На улице льет.
Слышит — не слышит. День-ночь напролет.

Лет перекачка. Утечка минут.
Стерлась резьба? Или нервы сдают?

Слесаря вызвать. Врача пригласить.
Кран замотать. Анальгин проглотить.

Господи, сколько же можно терпеть?!
Думать — не думать? В обои глядеть?

Сколько взбешенным скрипеть лежаком?
С кем препираться? И помнить о ком?

Кто докопается? Врубель какой?
Камень на сердце? Перо под щекой?

Жизнь ли виной? Или сам виноват?
Только глаза жутковато блестят...

* * *

Садись ко мне поближе, говори...

Апугтин. «Сумасшедший»

Говорил, заговаривался, говорил
и опять говорил без умолку,
и подобья каких-то невидимых крыл
пробегали за шторой по шелку.

И скрипел вентилятор, а он говорил,
говорил, как скрипел вентилятор,
как пропеллер гудел, и взмывал, и парил.
И кивал головой психиатр.

И когда ослабел деревянный язык,
и приехали два санитары,
о, каких эмпиреев уже он достиг,
как душа его вся трепетала!

А еще говорят, что безумье чумно,
что темно ему в мире и тесно.
А оно не от мира сего — вот оно —
однодумно, блаженно, небесно.

И какой бы дорогой к Последним Вратам
ни брели мы, как космос ни труден,
все мы здесь — а они уже заживо там,
где мы только когда еще будем!

И ему что больница теперь, что тюрьма,
узкий одр или вечные нары —
все равно! Натрудился работник ума
и сгорел. Так вперед, санитары!

И когда его к лифту с трудом подвели,
как провидец, не веря обману,
он вошел, на мгновенье опомнился — и
провалился в железную яму.

* * *

...А бедный художник избрал слуховое окно,
где воздух чердачный и слушать-то нечего вроде,
но к небу поближе — и жарко цветет полотно,
как дикий подсолнух, повернутый к ясной погоде.

.

* * *

Когда, как сто сорóк, стручки акаций
трещат в садах, а птахи ни одной,
я думаю: как радостно сказаться
хотя бы этой знойной тишиной.

Земля тепла, а радость безыскусна.
Как хорошо, что слов не занимать.
И яблоки, свисающие грузно,
пора уже от яблони отнять.

Пускай кому-то ранняя кислица
милей всего, а я люблю налив,
когда и вкус не может ошибиться,
и опыт поздней зрелостью правдив.

А вечерами воздух синий-синий,
и на погоду пляшут толкунцы,
и, значит, скоро ляжет первый иней
и съедут с дачи летние жильцы.

Но так легка над крышей голубятня,
и астры так несуетно цветут,
что кажется, и время незакатно,
и жизнь как этот день, и впору труд.

И ну как в детстве отломить горбушку,
и убежать, и дранку расщепить,
и змея запустить на всю катушку,
еще, еще — и нитку отпустить!..

* * *

А. Д.

По артистической привычке,
играя, зажигать сердца,
вы в шутку поднесли мне спички
подарочного образца:

старинных марок паровозы
на разноцветных коробках
и длинный дым от папиросы,
теряющийся в облаках.

Куда мы в дыме папиросном
помчим-поедем, на каком
паровичке восьмиколесном —
по-черепаши — с ветерком?

Не радость ли — махнуть перчаткой
и в жесткополом котелке
лететь, глотая воздух краткий
на черепановском гуське?

А век иль случай подвернется —
облюбовать локомотив,—
вы слышите, ФД трясется,
он бешен и как смерть красив?

Ах, от какой ни вспыхнуть спички,
в какую глушь ни двинуть пар —
по мне, хоть к черту на кулички,
вся жизнь — дорога да пожар!

И кто, сгоревший без остатка
или загинувший в пути,
расскажет, что за разрядка
нас ожидает впереди?

Но дар ваш — знак: не век поэту
под лампой локти протирать.
Мне жалко, если я уеду,
а вы останетесь — играть.

Ну что ж, играйте вдохновенно,
бросайте спички злобе дня!
Весь мир — театр, и ваша сцена —
Таганка, полная огня.

А отлетят мои колеса —
как знать, быть может, в том райке
мигнет мне ваша папироса
в вишневом длинном мундштуке.

ПРАЗДНИК ЛЕТА В ЕРЕВАНЕ

...Я встал невыспавшимся. Было еще рано, но воздух был уже удушлив. За окном висели ласточки над чашей Еревана. Шумела улица. Из кухни ресторана разило соусом чесночным и вином.

Вся на виду, высокогорная равнина дышала зноем и — насколько видел взгляд — текла гранитами к садам Эчмиадзина, меж тем поблизости четыре армянина сооружали допотопный агрегат.

Что за фантазия! Клянусь, такого вздора никто не видывал: храня недвижимый бег, среди опилок и строительного сора перед фонтанами, по воле режиссера, стоял на площади раскрашенный ковчег.

Он был воздвигнут для какого-то парада: труба картонная, фанерные борта сверкали так, что из долины Арарата он был готов уже, казалось, плыть куда-то по сухопутному пространству. Но куда?

Куда же плыть? О легендарные примеры, велик соблазнами, да мелок ваш простор!

Он стал на якорь и стоял как символ веры,
вошедший в требу и обряд, и пионеры
с непрочной палубы его трубили сбор.

Гремели горны и стучали барабаны,
и было что-то в них от праздника того,
когда тяжелые языческие храмы
курили ладан и священные бараны
в загоне Ноя ждали часа своего.

Дитя безлетия, библейское отродье,
стоял — светясь — ковчег фанерный, а вдали —
в бараньем зное, в виноградном плодородье —
не знаю сам, с какого сна, но на безводье
мне смутно виделись иные корабли...

* * *

Всю ночь точил меня комар,
а утром — пионер,
и пытку, как от янычар,
терпел я, крепковер.

Один зудел, другой трубил,
а я на стену лез,
и так я сыт их пеньем был —
по горло, под зарез!

А тут и муза — не уснешь! —
толкает локтем в бок.
Ей-богу, наточить бы нож
и всех троих — в лесок.

Но нет, уж если Гёте сам
руки поднять не мог
на муху злую, где уж нам
окровавлять листок.

Быть может, этот, тоже злой,
назойливый стервец,
как муха та, поклонник мой,
мой ангел, наконец.

* * *

С горы сонливо тянутся сады,
террасы виноградников, ползущих
сюда, где тенты плещут у воды
и ложечки не спят в кофейных гущах.

А здесь, на берегу, такой прибой,
так шелестят кривые мандарины,
как будто говорят между собой
абхазцы, и армяне, и грузины.

Такая речь — ни чёрта не поймешь,
ни смысла, ни акцента не полюбишь,
пока вина на столик не прольешь
и от лозы цыцкайской не пригубишь.

Но ясен день, и голова свежа,
и видишь все как видишь — без обмана,
когда ты пьешь с друзьями не спеша
и входишь в толк от каждого стакана.

Как хорошо с друзьями говорить!
Пока в маджари уксус не забродит,
есть время и сказать, и повторить,
и внять тому, кто слова не находит.

И если не брожением крепок дух,
а остротой ума и прямодушьем,

какая радость высказаться вслух
и за радушье отплатить радушьем!

И от какой-то дичи взгляд поднять
и увидеть валы за волнорезом
и виноградный склон — и губы сжать,
и так молчать под веющим навесом.

И так глядеть, чтоб ирисы цвели
и на море отсвечивали дали,
чтоб солнце жгло, а волны шли и шли
и гальку на песок перетирали...

* * *

Не холодно, а дует.
Не дует, а скребет.
Какой-то черт колдует,
стучит: приход-расход.

Не голодно, а давит.
Не давит, а свербит.
Какой-то бес картавит,
строчит: расчет-кредит.

Бухгалтер ли дотошный,
учетчик ли чумной,
ведет свой счет несложный,
распоряжаясь мной.

И жизнь моя чудная,
пока не кончен счет,
как косточка сквозная
летает взад-вперед.

ОТРЫВОК

Пойдем же вдоль Мойки, вдоль Мойки...

А. Кушнер

И кафель, и паркет — а где уют? —
дома, дома — но я не о жилищах, —
мы строим их — они нас создают, —
вот я о чем: о доме, церкви нищих,
о доме как семейном очаге,
а он один, и — хорошо ли, худо —
в каком бы ни носило далеке,
я никогда не уезжал отсюда;
вот ваня-мокрый в банке у окна,
замазка и висячие бутылки
под окнами, и в глубине видна
недужная сирень — и мы любили! —
вот двор с конюшней — как же, узнаю —
а дальше сад — но до другого раза,
что главное? — не впасть, как в колею,
в чужую интонацию рассказа,
в повествованье; получил на днях
письмо я от профессора Адмони,
в котором он на дружеских правах
мне пишет, что находит общность в тоне,
хотя повествовательность меня
и заедает — вот она, забота! —
люблю я ленинградцев — мы родня:

у них болота, и у нас болота,
хотя, как знать, не в пику ль нам взошли
из той же зыби, из того же теста —
и медный конь, и пузыри земли,
кунсткамера, шалаш, Адмиралтейство;
завидую собрату: в этот час
он гоголем шатается вдоль Мойки,
а у меня, увы, не тот пейзаж:
сарай, огороды да помойки;
но есть прогресс, однако, и у нас:
бывало, мы дровами печь топили,
теперь гудит за изразцами газ —
и что же? — ни поэзии, ни пыли,
зато тепло; и, сев к колоснику,
взгрустнул бы, вспоминая про поленья,
да не к лицу грустить, как барчуку,
интеллигенту в первом поколеньи
или, как Слуцкий говорит, полу-
интеллигенту, родом из Посада,
который мог бы развести пилу,
а мог бы и чернила — да не надо,
поскольку газ, а перейди порог —
и школьные товары по соседству,
где вот он, вот — заветный пузырек,
и — мятный дух... и, повернувшись к детству,
острее зренье: погрузи перо,
как в реку шланг, и знай кропи тетрадки
живой водой и возвращай добро —
сравнение продолжу, — как на грядке
редиску, а она во сне растет
как красны-девки, а бела как бабы...
о чем я, дай бог память?.. — да, так вот:
не все ж от печки танцевать, пора бы
от батареи, что ли, но какой,
какой арап возвел коробки зданий
взамен домов и обозначил строй? —

нет, не творцы мы наших начинаний,
всё под копирку, всё как у людей:
упадок дел и оскуденье мысли,
подъем труда и шахматных идей,
и так вся жизнь на ветхом коромысле,
вся эта новизна...

ПОЭТ И РЕДАКТОР

(В известном роде)

Поэт

День добрый! Я к вам за ответом.
Вы рукопись мою прочли?

Редактор

Когда вы приносили?

Поэт

Летом.

Редактор

Чего же вы зимой пришли?
Такой мороз. Ведь вы не в штате.
Хотели, может быть, аванс?

Поэт

Я мимо шел.

Редактор

Ну и некстати!

Нет заключения о вас.
А мненья, вы уж извините, —
тем — свет в окне, тем — сукин сын —
на то и мненья. Так что ждите.
Вас много тут, а я один.

Поэт

Вот-вот, у моря жди погоды!
И ждал бы, да просвету нет:
проходят дни, желанья, годы.
Все жду... Спасибо за совет!
Да что, достойно удивленья
не то, по совести сказать,
что продается вдохновенье,
что рукопись нельзя продать:
кому?!

Редактор

А я скажу иначе:
пока загадка вы для всех,
вы неизбежностью богаче.
А что, в конце концов, успех?
Игра, причем без капитала.
В печать? А проще бы — в клозет!
Канализацию прорвало:
стихи, стихи — ну мочи нет!
Нет, счастлив тот, о ком не слышат,
что план ему и редсовет?
Писать и стихотворцы пишут,
а ждать умеет лишь поэт.
Уж он возьмет свое сторицей,
играючи утрет всем нос,
ведь и в игре, как говорится,
важна не ставка, а запрос.

Поэт

Не знаю, может, вы и правы...
Мне тоже кажется порой:
кто денег ради, кто для славы —
все заняты своей игрой.
Иной раз выйдешь за газетой

или собаку прогулять,
глядишь — а день такой отпетый,
что шапку норовит сорвать! —
торчит из снега остов елки
в квадрате голого двора,
скрипит бельё, летят иголки, —
вот это, думаешь, игра! —
когда играет кровь с морозца,
и ветер мысли молодит,
и в желтой изморози солнце,
как рельс подвешенный, звенит!
Или в деревне — то-то любо
идти с ведерком за водой,
грибы на потных стенках сруба
сбивать дрожащею бадьей;
а пчелы в парниковой раме
уже жужжат и жалят слух,
и в окнах пыльные герани
цветут, отпугивая мух,
и так неслыханно в природе,
так дух заряжен от ходьбы,
что так же, между делом вроде,
и строки лезут как грибы.
Пиши — да чертова жарница!
А с холодеющей зари
щелкун невидимый засвищет,
и лопнут жабы пузыри,
друзья нагрывают, по стаканам
перцовку с пивом разольем —
и ну галдеть в застолье пьяном,
аж дым закиснет над столом!
А утром встанешь: денег нету,
глаза мозолит перевод —
проклятьё! — скомкаешь газету
и в будку через огород...
Стихи, стихи... Заладят на век,

хоть кол на голове теши.
А ведь поэзия не навык,
а состояние души,
и если тошно с перепоею
или с поденщины мутит —
пусть их! — не поперхнись строкою,
поэт и молча говорит.

Редактор

Ну, ваш запал от раздраженья.
Мы рады вам, когда вы наш.
Войдите ж в наше положенье.

Поэт

Войти? Не выйти бы в тираж!
Я тоже был не без запросов:
куда спешить? Возьму зараз!
Не мы, сказал один философ,
во времени, а время в нас.
Теперь скажу: нет вечных истин,
что в срок приходит, то и впрок.

Редактор

Но если вовремя не издан,
и вдохновенье не залог.
А надо что? На точку зренья
уметь подняться на волне
не фактов, но воображенья.
Все ищут правду, а по мне
смотреть в упор на эти вещи —
род близорукости. Увы,
не все то золото, что блещет,
но то, что взял из головы, —
и дети скажут: то́ — от бога.
Глядеть на стол и думать: стол —
ума, я думаю, не много.

Живи, коль к людям ты пришел,
как люди. Если независим,
поэт всегда не ко двору,
однако мудрость — в компромиссе:
не принимай, но знай игру,
ты вещь в себе, но в обращенье...

Поэт

Ну я пойду.

Редактор

Что это вдруг?

Поэт

Да так... погрелся в помещенье —
и хватит.

Редактор

Если недосуг,
вот рукопись вам. Захотите
к словам прислушаться моим,
договоримся — заходите.

Поэт

А нет?

Редактор

А нет... поговорим.

* * *

Отпела, отплясала и прошла
поэзия гармонии деревенской.
А как высоко голову несла
в запевке вологодской да смоленской.

До петухов, бывало, топоча,
как разливалась ливенкой и хромкой
и свешивалась с левого плеча,
умея быть и тихую, да звонкой.

Не то беда, что весельчак не тот,
что табунка не слышно у скамейки,
а то, что деревенский коновод
и во поле поет от батарейки.

А если где и встретишь смехача,
— Сыграй, — попросишь сукиного сына, —
плечами поведет... и — «Ча-ча-ча!» —
кудерьками потряхнет. и — «Арлекино».

* * *

Черемуха в овраге. Соловей.
Благоухает та, а этот свищет.
Душе довольно простоты своей,
которая сама с себя и взыщет.

Я, проходя, сперва подумал: Фет,
представил мельком барский пруд, беседку,
но вспомнил и свое: велосипед,
тетрадку в клетку, девочку-соседку.

Я ей писал записки, от чернил
синели пальцы. А она краснела.
Как я несчастлив! Как я счастлив был
своим несчастьем! Но не в этом дело.

А дело в том, что перышко с крыла
в те дни мне ангел бросил для отваги,
а по садам черемуха цвела,
и кто-то щелкал по ночам в овраге.

Что девочка умчалась, так о ней
и слуху нет. А перышко осталось.
Легчайшее, как думал дуралей,
да тяжелей, чем думал, оказалось.

Да дух остался, нет, не аромат,
а дух, который веет бесталанно
над тем пиитой, и на поздний взгляд —
единственный свидетель, вот что странно.

* * *

Три раза в году цветет тамариск
и только один — джуда,
от этих сухих сумасшедших брызг
кипит зеленой вода,
и солнцем каждый листок пригрет,
и зной, да такой, в тени,
что если ты хочешь сказать мне нет,
то лучше повремени.

Пусть зной спадет, и падет роса,
и жук пролетит ночной,
и вспыхнут холодные небеса
над нами, тобой и мной,
и к тамариску прильнет джуда,
и грянет, да так, с ветвей,
что если ты можешь сказать мне да,
то лучше сказать скорей.

* * *

Вот женщина — и глаз не скосит,
и не отшутится всерьез,
но шарф за горло перебросит —
и жизнь пойдет наперекос.

Затейница и фантазерка,
и пальцем не пошевелит,
но глянет холодно и зорко —
и всю обыденность сметет.

Пройдет — и море взбудоражит,
барашки двинет на песок,
оборотится вдруг — и ляжет
волна смиренная у ног.

И, видит бог, порвешь все путы
и мелочный страхнешь уклад
из-за единственной минуты,
когда она опустит взгляд.

И если тайной друг о друге
сведет вас где-нибудь двоих,
ты стиснешь руки ей — и руки
в руках останутся твоих.

* * *

...не может быть! — и сердце в колотье
так заходило, что от напряженья
я судорожно думал о тебе,
пытаясь отогнать воображенье,

и, повернувшись на бок, в полусне
еще, еще, еще — и многократно —
я думал о тебе лицом к стене,
и на стене подрагивали пятна,

и тополь, в ночь метавший семена,
так шелестел в окне, что мне казалось,
что в этот час была ты не одна,
и я не знал, как это называлось,—

не браком же! — но кто тебя ласкал,
он был в законе, но как вор последний,
и каждый палец пытке потакал:
большой, и указательный, и средний —

все троеперстье — нет, вся пятерня,
вся кровь моя в подушку колотила:
ты не его любила, а меня —
меня! меня! — когда его любила...

* * *

Никто никому не обязан,
у каждого собственный счет
лишений, и свыше наказан
достаток своих же забот.

А если кому надоело
избыток убогий влачить,
он волен — какое нам дело! —
по счету и долг погасить.

Но есть и другая свобода:
невечному вечным воздать,
когда неизбежность ухода —
не тягота, а благодать.

Не так ли срываются листья
и вьюга влетает во двор,
последним теплом бескорыстья
бинтуя холодный простор?

Не так ли в кирпичной юдоли
и нам этот прах отрясти
по той, по единственной воле,
а там хоть быльем зарости?

И если кому-то положен
предел, да воздастся тому
сторицей. А свыше — не должен.
Не должен. Никто. Никому.

* * *

Колочий воздух утреннего Крыма
и этот свет — не ярок, а слепит.
— Скажи, скажи! — но грусть неизъяснима,
лишь галька черноморская скрипит.

Отбушевав, отпнясь, море кротко,
как после близости. И ты со мной.
И сохнет перевернутая лодка
на берегу, забытая волной.

О чем еще? Я был недавно молод
и тоже бушевал. Но поутих.
Как это назовешь: внезапный холод,
озноб восторга и тщету двоих?

— Люблю, люблю! — еще бормочут губы,
а опыт сердца не находит слов,
и тихие серебряные трубы
поют, не слыша наших голосов.

Не говори ни слова. Дай мне руку
на неизбежное. На здесь и там.
На встречу или вечную разлуку.
На память жизни, предстоящей нам.

Никто от своего не уклонится.
Какого же еще подарка ждать?
Какой невосполнимостью томиться?
И так с избытком эта благодать!

ЗА СТРОКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ХРОНИКИ

648 до н. э. Затмение солнца.
Расцвет поэзии Архилоха.

Бикерман.
Хронология Древнего Мира

Опять эта зоркая злость
и этот простор подневольный,
упершийся в горло, как кость,
с поры предвоенной и школьной,
и прежде того — с вековой,
еще до рожденья рожденной,
запавшей двойной синевой
у глаз, как нуждою огромной.

Князь Игорь вступил в стремена,
но мгла ему путь преградила,
и черного дня глубина
предвестья дурные явила,
и срам он найдет, и полон,
но песней, как долгая рана,
на вещей взойдет небосклон
безвестный Соперник Бояна.

А там, за раскатом валов,
чей натиск ликующ и горек,
обломки каких катастроф
и взлетов увидит историк? —

где знать! — но из пропасти лет
всплывет за строкою Эпоха:
— Затмение солнца. Расцвет
поэзии Архилоха.

Какая тяжелая цепь!
Галера скрипит в сорок весел,
скрежещет, как утлая крепь,
судьба — и на гребень выносит,
чем круче волна — тем верней,
чем хлеще удар — тем чудесней,
и песня все кружит над ней,
как чайка над черною бездной.

Не наша с тобою вина,
тем паче не наша заслуга,
что нас обошли и война,
и плен, и большая разлука,
что этот простор не на нас
глядел, совмещая две точки,
что свет среди дня не погас
от бланка и вписанной строчки.

Но тот, кому Слово дано,
себя совмещает со всеми,
поскольку Оно зажжено
для всех и в не лучшее время.
И если ты встал до зари,
в пустой не печалься печали,
но, радуясь, благодари:
какие мы звезды застали!

Глаза и слепому даны,
но я не о тех, что глядели.

Какие мы видели сны!
Какие мы лжи претерпели!
И, может быть, некий поэт
отметит среди помраченья:
— Затмение разума. Свет
страдальчества и искупленья.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЗАСТОЛЬЯХ ЮНОСТИ

Мы пили когда-то — теперь мы посуду сдаем.
В застольном сидели кругу, упираясь локтями.
Теперь мы трезвее и реже сидим за столом,
где нет уже многих и мы уж не те между нами.

Хлопушка с крапивой цветут на забытых костях.
По вечным маршрутам повыбыли, по неминучим.
Как всех разметало! А мы засиделись в гостях.
Так выйдем на воздух, морозцем подышим колючим.

Пойдем по Бутырскому валу и влево свернем,
по улице главной дойдем до Тверского бульвара,
где зорко молчит, размышляя о веке своем,
невольник чугунный под сенью свободного дара.

И мы помолчим о своем... А денек серебрист,
и темные липы, морозный пройдя электролиз,
горят белизною, и чудом оставшийся лист
трепещет на ветке, окалиной радужной кроясь.

Друзья дорогие, да будет вам в мире светло!
Сойдемся на зрелости лет в одиночестве тесном.
Товарищи верные, нас не случайно свело
на поприще гибельном, но, как и в юности, честном.

Я вас окликаю, хоть нет вас, быть может, нигде,
как юности нашей, теперь пребывающей в нетях.
Так что остается в заносчивой нашей нужде?
Коль выпито все, и посуду сдадим напоследях.

* * *

Прочел — и в белом зареве
обуглился листок:
— Я жду, как ворон ярови,
домой тебя, сынок.

И вот, с глазами мокрыми,
по черной целине
бреду — а ты под окнами
как свечка обо мне.

Не все в душе опошлено,
она жива, жива
стяжаньем духа божьего
и кровного родства.

Из стужи ли, из жара ли,
из праха из-под ног:
— Я жду, как ворон ярови,
домой тебя, сынок...

СВОИ

(Из поэмы)

Памяти близких

А от нас неподалеку
жили до судьбы, до срока
сестры мамыны: одна —
с мужем маясь инвалидом,
две другие по убитым
убиваясь, — шла война.

Ах, и в ту войну, и в эту
сколько их по белу свету,
баб таких, — кому считать? —
от японской до германской,
от германской до гражданской
и в немецкую опять!

Как в четырнадцатом годе
не в своем ушел черед
от стального полотна
на тифозные полати
причаститься благодати
батюшка: — Прости, жена... —

как жена в холодной будке
пошатнулась вдруг в рассудке —

шутка ли, не пара ртов! —
пошатнулась в духе с горя
и сама за мужем вскоре,
через несколько годков,—

и пошли они с разъезда,
по миру с родного места
по дороге по пустой —
Маня, Дуня, Оля, Нюра,
Шура да братишка Шура,
сирота за сиротой.

А дорога — нету долше,
а бездолье — нету горше:
по снегу да по грязи;
кто обут — тот на колесах,
а они как есть из босых —
в лапоточках по Руси.

А в России, мать честная,
пертурбация сплошная —
с Капиталом бьется Труд:
гарью пахнет и железом,
кто с винтовкой, кто с обрезом,—
и куска не подадут.

Вся защита — малолетки.
Кто-то с цепкою в жилетке
пожалел и взял в семью
Маню в качестве прислуги
как старшую: швабру в руки
и — *за революцию!*

И меньшие не отстали,
на ноги с годами встали
и дошли от Становой

до Ельца, а там до Тулы,
а оттуда на посулы
до Посада под Москвой.

На посулы, да не к тетке:
кто на торфоразработки,
где залетка чубчик взбил,
кто на фабрику француза
под начало профсоюза
и окрестных заводил.

Да и то сказать, в девчонках
наломались на поденках,
нажились — аж с головой —
у богатых, у патлатых
и у тех, кто на подхватах,
а теперь хоть жмых, да свой.

В одинаковых платочках
настоятся у станочков
и у цеховых трибун,
грохот слушая и речи,
а накинут шаль на плечи —
у залетки колотун.

Кликнет Нюра, выйдет Оля:
ой, недоля-дроля-дроля,
не ходи за мною вслед,
у тебя, у бедолаги,
помрачительные краги,
да штиблет под ними нет.

Худо было, бедно было,
но парней за ними — сила,
а для каждой все один.
Худо-бедно, в полном сбэре

встанут Яков и Григорий,
Евдоким и Константин.

А как свадебки сыграли,
да детей понарожали,
да пополнились родней,
глаже стали, а не хуже.
Спросят: — Замужем? — За мужем
как за каменной стеной.

Не за каменной, понятно,
но штакетник аккуратно
ставлен был, не спрехвала,
при бараке ли, при доме,
где собака на соломе
кость на счастье стерегла.

Жить и жить, да Дуню жалко:
тихая, не та закалка,
за другой стеной жила.
Из окошечка отдали
только юбку да сандалии.
А красавица была!

Так с больничною обновой
в путь невестою христовой
как из дома — в стынь и грязь —
и ушла за белой крупкой,
лишь сандалями да юбкой
с сестрами навек простясь.

Что же, каждому с рожденья
мученичеств и терпенья
свой удел, но на порог
шло такое лихолетье

с кровью, порохом и медью,
где уж не удел, а рок!

Что из жизни довоенной
помню? Необыкновенный,
чуть ли не с меня арбуз
и двоюродного брата,
как глядел он хитровато
на меня: — А ты не трус?

Вижу, вижу Николая,
как зубами самурая
хохотал: — Банзай! Банзай! —
Финку взял под приговорку
и проткнул тугую корку:
— Ну-ка, братец, дорезай.

И арбуз, на удивленье
крепкий, от прикосновенья
хрустнув, развалился вдруг —
красный, но такие зерна;
что, как время, красно-черный
раздвоился — Красный круг!

Черный круг! — А это дуло
репродуктора зевнуло,
вырвав из белесой мги
тетю Маню под иконкой,
тетю Олю с похоронкой,
дядю Яшу без ноги.

Маня, Маня, тетя Маня,
всем была и мать, и няня,
рассудительней, ровней
остальных сестер, степенна,
статна необыкновенно, —
злее и досталось ей.

Как убили Евдокима
Николаича, да сына,
да другого — волчья сыть,
мало, что ли, им? — да третий,
белозубый, канул в нети,
и четвертому не жить...—

села Маня, поглядела —
слез уж не было,— присела
с краешка на табурет,
не зашлась, не поседела,
только вдруг окаменела
на почти что тридцать лет...

А у Оли тоже горе,
в крик запричитала Оля,
выбежала в чем была
на берег, чтоб утопиться,
а на Клязьме снег искрится,
прорубь за ночь заросла.

Поостыла, постояла,
маленькая, меньше стала,
и вернулась жить — вдовой.
Да и дочки: не накаркай,
та на фронте — санитаркой,
эта в школе — медсестрой.

Справка из военкомата.
Вот еще: убили брата.
Похоронная сума
ходит, ищет адресата.
Где веселые ребята?
Писем-то — сойти с ума!

А у Шуры говор за ночь —
пир ли, плач — пришел Лукьяныч,
Яков то есть, на одной.
Шитый-латаный, оглохший,
улыбается, хороший:
на одной пришел домой.

Разве это позабудешь?
Позабудешь — жить не будешь,
через что прошли, чтоб жить
по-людски и по-соседски,
говорить не по-немецки,
а по-русски говорить.

Или песни петь. Как пели!
Сядут под вытье метели
перед печью кто на чем,
слушая, как у девицы
просит раненый напиться.
Где околица? Где дом?

А «кирпичики» затынет
инвалид — и тихо станет,
не шелохнувшись сидят.
— Скоро, бабки, за оградку.
— Верно. Мужнину-то кладку
развалил-таки снаряд...

...Мал ли был иль жили тесно,
но куда как интересно
было жить. А почему?
Был отец. На нем держалась
не одна семья. Казалось,
и чужие шли к нему.

Потому что на конюшне —
распахать участок нужно,
привезти ль кому дрова —
все к отцу. Могу гордиться,
что Пегас мой, как у Китса,
тоже с конного двора.

День-то! С ясностью ребенка
вижу: выпала гребенка
мамина на половик.
Теток вижу сухопарых,
молодых еще, но старых.
Плач — и запоздалый крик.

Плач — и крик — и солнце, солнце,
из колонки даром льется
хлещущей струей вода.
Сохни, дева, у колодца:
кто ушел — тот не вернется,
не вернется никогда.

Что ж в последнюю минуту
Нюру вспомнил я, Анюту,
маму? Да уж так увел
просекой узкоколейной
хвост истории семейной,
хоть цепляйся за подол.

Тут что ни скажи, все мало.
Мама! И ее пинала,
ела поедом не раз
долюшка, но как ни круто,
спросят: «Как живешь, Анюта?»
— Лучше всех, кто хуже нас!

Все-то с шуткой, прибауткой,
и нечистого с анчуткой

запросто отбрить могла.
Но одно я помню: нищих
привечала: — Бог не взыщет! —
всем от скудного стола.

А уж Гришу так любила,
что привязывали было
к дереву ее со зла.
Горяча была, кудрява,
чистой — что худая слава! —
на двоих детей пошла.

А отец тот был спокойный,
намахался в Первой Конной
пашкой — и в ножны вложил.
Впрочем, был, как и вначале,
при коне, но не призвали,
как в милиции служил.

Это было лет за восемь
до войны. Худая озимь
в снег ложилась до весны.
А потом и яровые
в прах ложились чуть живые, —
это уж после войны.

И над обмелевшей Клязьмой
хвоей полыхало красной,
ухало издалека.
И чернели слева-справа
топляки от лесосплава,
всосанные в берега.

Я в то лето scarлатиной
заболел. Сухой щетиной
на поле хирел овес,
где мы с мамой шли в больницу,
зной звенел, молчали птицы,
мама еле шла от слез, —

я-то думал: из-за дыма, —
шли мы кладбищем и мимо.
— Я умру? — как идиот
сглупу обернулся к маме;
мама белыми губами
улыбнулась: — Я вперед...

Выдумал. Идем в больницу! —
Сколько ни прошло, а снится
зной звенящий над овсом.
Поле это вспоминаю,
да посылки Николаю,
да слепящий свет на всем.

Это надо бы подробней,
да легла плитой надгробной
тяжесть та... А что слова?
Бесталанно наше море.
Реки слез и горы горя.
Как у всех. У большинства.

Не избыть. Да и к корыту
приписали, то есть к быту,
мол, такой-сякой поэт
прозой жизни озабочен.
А в России, между прочим,
быта и в помине нет.

Путь из худобы́ в худóбу:
я уехал на учебу
в институт, осел в Москве.
Там уток, а тут основа.
Не шелково, а сурово
шилась по стальной канве

жизнь моя. Текли как воды
дни, и месяцы, и годы...
Оглянулся: как вы тут?
На лице морщины или
трещины в прибрежном иле?
И дошло: к земле растут.

Вот они — под абажуром,
выбеленные на хмуром
оттиске, как негатив.
Кажется, не постарели —
выбежали из метели
девочками, все забыв.

Стало быть, не за горами
смерть уже, а за плечами,
вот и внучек под крылом,
вырастили честь по чести,
пожили со всеми вместе,
тут и знамение в дом.

«Две синички прилетели,
крыльями прошелестели,—
сон припомнила сестра,—
и за почту повернули,
не иначе, к тете Нюре,
думаю. Пришла пора».

Так и вышло. Утром к маме
Оля, только что от Мани,
и с порога: — Николай!.. —
Не дослушав, задрожала,
как слегла, так и не встала,
поболела — и прощай.

В полночь, точно жар колотит,
закричал отец: — Отходит! —
и, как мертвый, сам затих.
Белый, он стоял в исподнем,
словно в саване господнем, —
снег один укроет их.

А она была прекрасна —
спящая. Я помню ясно,
как разгладились черты
смуглого лица и тело
медленно помолодело,
тяжкое от пустоты.

А как в дальний путь отпели,
ровно через две недели
Маня следом — знать, беда
не одна пришла к порогу,
режьте лапник на дорогу,
открывайте ворота.

Запрягайте Сивку-Бурку
в сорок сил. На стол к хирургу
лег Григорий, отошел
от наркоза, сам побрился,
а на завтра свищ открылся,
со стола опять на стол...

Приказал к тому же ряду.
По гражданскому обряду
с музыкою духовой
мы его похоронили
и стояли на могиле
вечность целую с сестрой...

Это ж ум зайдет за разум,
чтобы чохом или разом
все управились — проверь
по табличкам — за год, за два,
ничего не скажешь, жатва
так уж жатва! Без потерь.

Даром во бору упала
ель-сосна, недаром стала
тетя Оля попивать.
Говорю ей: — Бог накажет, —
А она рукою машет:
— Нашим где не пропадать!

Оля, Оля, тетя Оля,
елочка в холодном поле,
прозябала у реки.
Дом не дом, а развалюха,
переехала старуха
в теплый угол от тоски.

Дом большой, многоквартирный,
да, видать, прораб всемирный
на один возвел фасад
весь квартал, панель к панели,
не отыщешь нужной двери,
тыркайся во все подряд.

А октябрь холодный выпал,
потемнело, снег посыпал,
бес ли, вьюга ли, склероз —
всё огни, а нету света,
в белой тьме пропала где-то,
дома не нашла в мороз...

Что ей грезилось у ели?
Вечной странницей в метели
шла на свет — а света нет.
И одна осталась Шура,
младшая, из-под прищура
тот взыскующая свет.

Шура, Шура, тетя Шура,
говорили, Шурка дура,
сызмала как без ума:
всем Фома, а ей Ерема,
с целым причетом знакома,
а не знает ни псалма.

Но когда за каждым близким
та, которой каждый взыскан
в час его, пришла с косой,
кто похлопотал заране
о кутье, кто службу в храме
заказал за упокой

по усопшим Евдокии,
Анне, Ольге и Марии,
по мужьям и детям их?
Кто, как не она, сорока
якова, не столь от бога,
сколь от странностей своих —

богомолка-хлопотунья.
Это солнце в полнолуны
на небе на склоне дня,
свет и свет, живой и мертвый,
это веной и аортой
всосанная в кровь родня.

Это жизнь по жилам бродит.
Род приходит, род уходит
и опять приходит род
как трава, и там, где почва
общая не худосочна,
там и поросль не прейдет.

Может, мы живем с рожденья
в двух мирах, и подтвержденья
явны одного в другом:
в первом человек закован
временем своим, в другом он
связан памятью и сном.

Недоверьем не обижу
жизни видимой, но вижу
ту, которая в тени
зримой, и чем старше зренье,
тем отчетливей виденья
жизни, сущей искони.

Потому и умереть им
или где-то в мире третьем
затеряться не дано,
нашим старикам, старухам,
в тех краях, пока мы духом
в этих с ними заодно.

Жили все-таки, страдали,
век ничей не заедали,
а давали жить другим.
Стало быть, не за горами
вечное, а за плечами.
Мир им, мертвым и живым!

По снегу, по чернозему
в сумерках идя из дому,
думаю: где их найти?
Вот они — узрю за мраком,
в ракурсе как бы двояком,
в духе или во плоти.

Вот они — под абажуром,
выбеленные на хмуром
оттиске, как негатив.
Кажется, не постарели —
выбежали из метели
девочками, все забыв.

А над городом весенний
дым стоит, и воскресеньем
пахнет бурая трава.
И уходит от вокзала
колея за шпалой шпала —
в строчку шитая канва.

Снег лежит еще местами,
а над черными крестами
грай — и не охватит глаз.
Господи, как мало надо —
слякоть, грязь, а сердце радо
в первый ли, в последний раз.

И поля за переездом,
и лесок в дыму воскресном,
елочка стоит одна,
вон синичка, вон другая
на столбе, а вон и стая,
кто еще там? — вот те на! —

дядя Яша ковыляет,
тетя Шура поспешает,
он ей палкой: молодежь?!
И косая вслед плетется.
— Мы из рыбинских, — смеется, —
нас на пушку не возьмешь.

А за Клязьмой бор стеною.
Хорошо гулять весной.
Хорошо глядеть на свет.
Всюду жизнь живая бродит.
Веселитесь, все проходит,
как сказал один поэт.

ИЗ СТАРЫХ ТЕТРАДЕЙ

* * *

Что ми шумить, что ми звенить давеча рано пред зорями.

«Слово о полку Игореве»

Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий.
Вот и погас красный фонарь — юность, курящий вагон.
Вот и опять вздох тишины веет над ранью светающей,
и на пути с черных ветвей сыплется гомон ворон.

Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,
ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков под
мостом,—
кажется, все, что улеглось, талой водой взбаламучено,
всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом.

Это весна все подняла, все потопила и вздыбила —
бестолочь дней, мелочь надежд — и показала тщету.
Что ж я стою, оторопев? Или нет лучшего выбора,
чем этот край, где от лугов илом несет за версту?

Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли висит над
просторами?
Что ворожит над головой неугомонный галдеж?

Что мне шумит, что мне звенит издали рано пред зорями?
За семь веков не оглядеть! Как же за жизнь разберешь?

Но и в тщете благодарю, жизнь, за надежду угрюмую,
за неуспех и за пример зла не держать за душой.
Поезд ли жду или гляжу с насыпи — я уже думаю,
что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой.

* * *

Этот город деревянный на реке —
словно палец безымянный на руке;
пусть в поречье каждый взгорок мне знаком
как пять пальцев — а колечко на одном!

Эко чудо — пахнет лесом тротуар,
пахнет тесом палисадник и амбар;
на болотах, где не выстоит гранит,
деревянное отечество стоит.

И представишь: так же сложится судьба,
как из бревен деревянная изба;
год по году — не пером, так топором —
вот и стены, вот и ставни, вот и дом.

Стой-постой, да слушай стужу из окон,
да поленья знай подбрасывай в огонь;
ну а окна запотеют от тепла —
слава богу! Лишь бы крыша не текла!

* * *

Я не помнил ни бед, ни обид,
жил как жил — и во зло, и во благо.
Почему же так душу знобит,
как скулит в непогоду дворняга?

Почему на окраине дней,
самых ясных и самых свободных,
так знобит меня отблеск огней
и гуденье винтов паровых?

Верно, в пору стоячей воды
равновесия нет и в помине,
и предчувствие близкой беды
открывается в русской равнине.

И присутствие снега и льда
ощущается в зябком дыханье,
и такая вокруг пустота,
что хоть криком кричи в мирозданье.

Никого... Я один на один
с прозябаньем в осенней природе,
в частоколе берез и осин,
словно пугало на огороде.

Мы срослись. Как река к берегам
примерзает гусяною кожей,

так земля примерзает к ногам
и душа — к пустырям бездорожий.

Видит бог, наше дело труба!
Так уймись и не требуй огласки.
Пусть как есть торжествует судьба
на исходе недоброй развязки.

И, пытая вечернюю тьму,
я по долгим гудкам парохода,
по сиротскому эху пойму,
что́ нам стоит тоска и свобода.

* * *

На окраине кладбища, где начинается поле,
бродят козы, и в редком подлеске дрожит тишина.
Убирают картошку, и тянет ботвой с огородов,
и за каждым пригорком начертана чья-то судьба.
Мне не скоро еще! Для чего же так долго гляжу я
в бередящий простор, на распятыя железных антенн
и чего-то все жду?.. То ли сойку спугну мимоходом,
то ли друга умершего вспомню — и как бы очнусь
ото сна: где я? Что я? — Иду — и не знаю дороги,
только слышу, как воздух горчит, как лопата стучит,
отдаваясь в листе. И спокойствие мало-помалу
за ходьбою приходит ко мне. Возвратившись домой,
выпив чаю, я с книгой прилягу на старом диване
и, открыв наугад, двух страниц не успею прочесть,
как усталость возьмет. Я закрою глаза и увижу
лес и дым и пасущихся коз... Далеко-далеко
колокольня белеет. До сумерек стадо пригнало.
Я по улице Зорьку гоню, а вокруг хорошо:
расцветает сирень, и уже посадили картошку,
окна настезь,

и наши в Берлине,

и мать молода,

и поет патефон, и какая-то женщина плачет,
и я осенью в школу пойду — хорошо-хорошо!..

...Ходят ходики... В сумерках ранних склонилась старуха.
Боже мой, как согнуло тебя, дорогая моя!
Где сиреневый вечер?

Где радость надежды?

Где козья погудка?

Скрип часов... Тишина... Тишина...

ОБРАЩЕНИЕ К ШАРМАНЩИКУ ШАВО
ИЗ КАБАЧКА «БЕТАНИ»

Аллаверды к тебе, мой милый!
Ты видишь, я еще не пьян,
а потому в пирушке мирной
хочу и я поднять стакан.

Ну кто не знает, северяне
не любят говорить красно.
Но этот запах из марани!
Но это красное вино!

Я век бы жил анахоретом,
но, если теплится огонь,
я так скажу: живи поэтом! —
и к сердцу прислоню ладонь.

Давай, Шаво, крути шарманку,
крути, выкручивай до дна!
Скажи, за душу наизнанку
не мало ли — глоток вина?

За душу ребрами наружу
не много ли — вина глоток?
Верти, верти, бери за душу,
лей родниковый кипяток...

Спасибо, друг! Ты видишь, милый,
как песне плачется легко
над грибоедовской могилой
и над могилою Нико.

Быть может, если будем живы,
мы вспомним как-нибудь потом,
как вызывающе красивы
мы были в дружестве своем.

Мы вспомним, как на горной выси,
смотря за гибельный предел,
мы пили за ночной Тбилиси,
а ты нам музыку вертел.

* * *

Н. Н. Вильмонт

Что там? Босой и сонный, выберусь из постели,
дверь распахнув, услышу, как на дворе светает:
это весенний гомон — на лето прилетели,
это осенний гогот — на зиму улетают.

Круг завершен, и снова боль моя так далека,
что за седьмую далью кажется снова близкой,
и на равнине русской так же темна дорога,
как от глуши мазурской и до тайги сибирской.

Вот я опять вернулся, а ничего не понял.
Боль моя, неужели я ничего не значу,
а как последний олух все позабыл, что помнил,
то ли смеюсь от горя, то ли от счастья плачу?

Бог мой, какая малость: скрипнула половица,
крикнул петух с нашеста, шлепнулась оземь капля.
Это моя удача клювом ко мне стучится,
это с седьмого неба наземь спустилась цапля.

Вот уже песня в горле высохла, как чернила, —
значит, другая повесть ждет своего сказанья.
Снова тоска пространства птиц подымает с Нила,
снова над полем брезжит призрачный дым скитанья...

БАЛЛАДА О РЕСТАВРАТОРЕ

Н. В.

Опять качаются над ребрами дворов
на белых ветках стаи черных воробьев.

Как скоморохи у боярского крыльца,
они качаются, покачиваются.

И — гайда! гайда! — с метой песьей головы
метет метелица по улицам Москвы.

И снег опричный заметает с головой
тупик кирпичный, переулок Угловой.

А наверху — под самой крышей — в мастерской
затворник толстый горбит спину день-деньской.

Он в три погибели согнулся над доской
с улыбкой ангельской, с ухваткой воровской.

Он одержим сегодня зудом ремесла,
разводом линий, оперением крыла.

Среди летящих и парящих — хоть убей! —
он самый стреляный и черный воробей.

Пусть образ вечности олифою покрыт,
а он, прищурившись, на время поглядит.

Компресс наложит и, задумавшись, замрет
и три столетья вместе с марлей отвернет.

И только вздрогнет, как откроется впервой
печальный облик за печатью снеговой.

И только ахнет, как по замыслу творца
лик сострадания проступит из лица.

Вот, друг мой, истина! Не тот сегодня век,
не та метелица, и улица, и снег.

К чему ж качаются над ребрами дворов
на белых ветках стаи черных воробьев?

Зло крыто охрою. История в крови.
Но ангел падший домогается любви.

И снег все пристальней, но как бы ни мело,
утишим зло — у нас такое ремесло.

Проверим заново — ты кисть, а я перо.
Что нам в укор? Добро не может быть старо.

И кто-то в будущем таким же декабрем,
быть может, вспомнит нас с печалью и добром.

В ПАВОДОК

Свежим утром, покуда светает
в деревянном и низком краю,
медный колокол медленно мает
безъязыкую службу свою.

Облупилась яичная кладка,
сгнил настил до последней доски.
Посреди мирового порядка
нет тоскливее здешней тоски.

Здесь, у темной стены, у погоста,
оглянись на грачиный разбой,
на деревья, поднявшие гнезда
в голых сучьях над мутной водой;

на разлив, где, по-волчьему мучась,
сходит рыба с озимых полей,
и на эту ничтожную участь,
нареченную жизнью моей;

оглянись на пустырь мироздания,
подымусь над своей же тщетой,
и — внезапно — займется дыханье,
и — язык обожжет немотой.

НАПОМИНАНИЕ ОБ ИВИКЕ

Так вот куда стремиться
за тридевять земель,
когда в руке синица,
а в небе журавель!

Иду себе свободно
в родной Пелопоннес,
как Ивик беззаботный
через весенний лес.

Как хорошо дорогу
прослушать посошком,
шагая понемногу
с дудкою и мешком!

Как радостно с пригорка
висячий слушать гам
и легкодумно-зорко
глядеть по сторонам!

А там, в зеленой шири,—
дубравы да луга.
Коровы опустили
в траву свои рога.

Снопы лучей белесых
клубят лесную тьму.

Воткну я в землю посох
и дудочку возьму.

А лес все гуще, гуще,
все уже колея.
Вперед — в просвет цветущий
иног бытия!

Не блудному ли сыну
веселый дар с небес?
Кто хочет — в Палестину,
а я — в Пелопоннес!

И так я заиграю,
как истмийский флейтист.
И отзовется с краю
опушки птичий свист.

Но что там? В хвойном мраке —
все ближе, ближе — ах! —
не птицы — два бродяги
с дубинками в руках.

Они посторонятся
и станут за сосной.
— Своим ли прибедняться?
Идемте! Кто со мной?

Они переглянутся
о чем-то о своем
и только улыбнутся,
дубинки взяв: — Идем!

Один, другой и третий —
все трое — напрямик.

— Друзья, Зевес свидетель,
нам дудка проводник.

А грай в вороньих гнездах!
А столько воронья!
— Вы чувствуете воздух
иного бытия?

А солнечные пятна!
А красные цветы!
И голос: — Мы-то ладно,
но чувствуешь ли ты?

И словно шило, что ли,
пронзило левый бок.
И выпали от боли
и дудка, и мешок.

И что еще? Потемки.
Я охнул — и упал.
И кто-то в перепонки
впотьмах застрекотал.

И заскрипел, и дрелью,
буравящей сучок,
засвиристел под дверью —
так тоненько — сверчок...

Оставим объяснения.
Кто ведает о том,
какие сновиденья
перед последним сном.

Я мало жил — и много.
Там умер — здесь воскрес.

Но где она, дорога
в родной Пелопоннес?

А жизнь все безымянней,
и многие в тени.
И мы, будильщик ранний,
и мы с тобой одни.

Лишь рядом из поселка
сосновый скрип глухой
да поздняя поземка
по опали сухой...

* * *

Когда в поселке свет потух,
и прокричал со сна петух,
и прошумели ветви яблонь,
я, вздрогнув, ощутил на слух
тот пленный отчужденный дух,
который был природой явлен.

Стояла ночь, и лай собак
стихал, усугубляя мрак,
и, стихнув, не давал забыться,
и мысль неловко, кое-как
толкалась, как ручей в овраг,
ища, во что бы воплотиться.

Наверно, там, таясь за тьмой,
досадная себе самой,
она текла прямой и шире,
а я, ее исток прямой,
я так хотел, чтоб голос мой
как равный воплотился в мире.

Я так хотел найти слова
бесхитростного естества,
но чуждо, чуть касаясь слуха,
шуршала мокрая трава,
шумела черная листва —
свидетельства иного духа.

И в кадке с дождевой водой
дрожала ржавою звездой
живая бездна мироздания.
Не я, не я, но кто другой,
склонясь над млечною грядой,
оставил здесь свое дыханье?

ОСЕНИНЫ

Так дышится легко, так далеко глядится,
что кажется, вот-вот напишется страница.

О чем? Поди скажи! О том, как безутешно
повернута на юг открытая скворешня?

Или о том, как гром окраинами бродит,
и листопад идет, и молодость проходит?

Что скажешь? Как поймешь? Возьмешь ли грех
на душу
нарушить тишину? И словом не нарушу!

Лишь длинно погляжу на снявшуюся стаю,
как будто этот мир и сам я покидаю.

И оброну перо, и сердцем просветлею,
и разом подымусь над участью своею.

Я жил. И я ушел. И нет меня в помине.
И тень моя скользит неслышно по равнине.

И так мне высоко, что это ли не чудо —
оборотясь — глядеть с улыбкою оттуда?

* * *

On the fairest time of june.

Keats ¹

Еще помидорной рассаде
большие нужны костыли,
и щели в искрящей ограде
вьюном еще не заросли;

еще предзакатные краски
легки, как однажды в году,
и пух одуванчиков майских
не тонет в июньском пруду.

Но так сумасшедше прекрасна
недолгая эта пора,
и небо пустое так ясно
с вечерней зари до утра,

что, кажется, мельком, случайно
чего ни коснется рука —
и нет, и останется тайна
на пальцах, как тальк с мотылька.

О, лучше не трогай, не трогай.
Что правды? Иди, как идешь,

¹ В прекрасную пору июня (*June*).

своей легкодумной дорогой
и тайны чужой не тревожь.

Довольно с тебя и крайны,
и неба, и вспышек гвоздик.
Ты, может быть, сам не без тайны,
но, к счастью, ее не постиг.

ПОХВАЛА ДЕРЖАВИНУ

рожденному столь хилым, что должно было содержать его
в опаре, дабы получил он сколько-нибудь живности.

Малец был в тесто запечен
и, выйдя на дрожжах оттуда,
уже в летах, зело учен,
подумал: — Нет добра без худа.

А был он тертым калачом,
врал правду, но, как говорится,
уж коли в тесто упечен,
то что тебе императрица.

Ну кто бы знал, какой обман —
наутро лечь, в обед проснуться
и только вычистить кафтан,
как — бац! — на рифме поскользнуться.

Ну кто бы думал, что за прыть —
водить императрицу за нос
и с тем предерзостно открыть
свой век, на будущий позарясь.

Пока он дрых за семерых,
все хлебы время перемесит,
и глядь — на чашах мировых
нас недоносок перевесит.

Первейший муж, последний жох,
не про тебя моя побаска:
я сам не плох, но — видит бог —
не та мука, не та закваска.

Малец, себя не проворонь —
ори! А нету отголоска,
как он — из полымя в огонь —
не можешь? В том-то и загвоздка!

БАРКОВ

Храпел мясник среди пуховых облаков.
Летел ямщик на вороных по звездной шири.
А что же ты, иль оплошал, Иван Барков?
Опять посуду бил и горло драл в трактире.

А утром бил уже в Зарядье барабан.
Уже в рядах кричали лавочники с ражем.
А что же ты, иль не очухался, Иван?
Опять строчил срамные вирши под куражем.

Не тяжело пьянство, да похмелье тяжело:
набрешут досыту, а свалят на Баркова.
Такое семя крохоборское пошло,
что за пятак себя же выпороть готово.

Назвать по имени — срамнее не назвать!
Что Сумароков, не ученая ль ворона?
Недаром шляпу так и хочется сорвать:
— Привет, почтеннейший, от русского Скаррона!

И вам почтение, отцы строптивых од!
Травите олухов с горячечным задором,
авось и вам по вышней воле повезет
и петь забористо, и сдохнуть под забором.

Травите олухов. Ручаюсь головой,
что вы воистину смелы до первой драки.
Но гром прокатит по булыжной мостовой,
и ваши дерзкие слова — под хвост собаке!

Но вздор накатит — и разденется душа,
и выйдет голая — берите на забаву.
Ах, Муза, Муза, — до чего же хороша! —
идет, бесстыжая, рукой прикрыв жураву.

ДЕЛЬВИГ

Из трубки я выдул сгоревший табак,
Вдохнул и на брови надвинул колпак.

А. Дельвиг

В табачном дыму, в полуночной тоске
сидит он с погасшею трубкой в руке.

Отпетый пропойца, набитый байбак,
сидит, выдувая сгоревший табак.

Прекрасное время — ни дел, ни забот,
петух, слава богу, еще не клюет.

Друзья? Им пока не пришел еще срок
трястись по ухабам казенных дорог.

Любовь? Ей пока не гремел бубенец —
с поминок супруга — опять под венец.

Век минет, и даром его не труди,
ведь страшно подумать, что ждет впереди.

И честь вымирает, как парусный флот,
и рыба в каналах вверх брюхом гниет.

Жизнь канет, и даром себя не морочь.
А ночь повторяется — каждую ночь!

Прекрасное время! Питух и байбак,
я тоже надвину дурацкий колпак,

подсяду с набитою трубкой к окну
и сам не замечу, как тихо вздохну.

Творец, ты бессмертный огонь сотворил:
он выкурил трубку, а я закурил.

За что же над нами два века подряд
в ночах близорукие звезды горят?

Зачем же над нами до самой зари
в ночах близоруко горят фонари?

Сидит мой двойник в полуночной тоске.
Холодная трубка в холодной руке.

И рад бы стараться, да нечем помочь,—
уж больно долга петербургская ночь.

* * *

В нашем городе тишь да гладь,
листья падают на репейник,
в оголенном окне видать,
как неслышно пыхтит кофейник.

Ходят ходики, не спеша
поворачиваясь на гире,
и, томясь тишиной, душа
глохнет в провинциальном мире.

Что он слышит, мой мертвый слух?
То ль, что городу знать не ново:
как последний кричит петух,
как худая мычит корова?

В нашем городе тишь да крышь,
что мы знаем — не знаем сами,
но за что ни возьмись — глядишь,
не сойдутся концы с концами.

И поймешь в невеселый час,
что на осень нашлась проруха,
просвистелась она — и нас
оглушила на оба уха.

Оголила сады насквозь
и дала разглядеть сквозь слезы,
как летят, разлетаясь врозь,
лист осины и лист березы...

ВЕЛОСИПЕДЫ

Что есть и что останется — не знаю.

Как тень мелькает за ее спиной
стремительной, как вспыхивает солнце
на втулке колеса! Она легка
как бабочка, и на лету трепещет
крахмальный фартук белый — догони!
И колея в черемушник ныряет,
и воздух, воздух хлещет и пьянит,
а я припал к рулю, верчу педали,
я догоню ее! Но нет, едва ли...

Как ненасытна жизнь в пятнадцать лет!
Записка в книге, зуд велосипедный —
и целый день томишься, и во сне
куда-то сломя голову несешься,
она на раме, ты в седле — и прядь
отбившаяся горячит и дразнит,
а повернется — губы и глаза,
глаза и губы — и колючий шелест,
желанья полный, рама и седло —
и пустота!.. О, разрешение плоти, —
так выбивает пробку к потолку,
и раздраженно пузырится пена!

А мы, душа, другие знали сны,
но пролетели врозь велосипеды,

лишь имена Simson и Diamant
еще тоской черемуховой веют,
послевоенной, злой...

Но чтоб теперь,
теперь столкнуться на перроне — ты ли? —
и отшатнуться: круглое лицо,
прямая полногрудая фигура,
затянутая узким ремешком,
как дачный саквояж, и зонт японский —
чужое все! — и только твердый взгляд
как вызов да еще сухие губы
надменные...

Зачем, зачем всю жизнь
я догонял тебя? Теперь я знаю,
что первая любовь обречена,
но медлю почему-то... Так однажды
стоял я у киоска Sex-rogno,
о принце Датском смутно вспоминая,
о вопле паровозном, о письме:
«Я больше не люблю тебя», — а рядом
вечерний Копенгаген жил, и негр
глядел в киноглазок, и кто-то шею
тянул, чтоб оттеснить его, взглянуть,
увидеть нечто... Есть у нас секреты,
а тайны нет... Как вздрагивает зонт...
Нелепо говорить, молчать нелепо.
И хорошо, что поезд подошел.
— Звони! — И двери стукнулись резиной...

Не может быть, чтоб я тебя любил.
Не может быть. Я ничего не помню.
Но отчего же так не по себе,
как будто в чем виновен? Нет, довольно,
довольно с нас и собственных забот!
И мне они дороже тех кошмарных

счастливых снов, какие только раз
сбываются, когда мы не готовы
для счастья...

А она еще летит
как бабочка, еще летит, мелькая,
непойманная, легкая такая...

.
А иногда мне хочется шепнуть
как на духу, почти неслышно: время —
убийца, а не лекарь...

* * *

Река темнеет в белых берегах.
Пронесся ледоход неторопливо,
и тишина зыбучая в лугах
стоит недели за две до разлива.
Я что-то потерял. Но что и где?
.
И колесо колеблется в воде.

* * *

...и дверь впотьмах привычную толкнул —
а там и свет чужой, и странный гул —
куда я? где? — и с дикою догадкой
застолье оглядел невдалеке,
попятился — и щелкнуло в замке.
И вот стою. И ручка под лопаткой.

А рядом шум, и гости за столом.
И подошел отец, сказал: — Пойдем.
Сюда, куда пришел, не опоздаешь.
Здесь все свои.— И место указал.
— Но ты же умер! — я ему сказал.
А он: — Не говори, чего не знаешь.

Он сел, и я окинул стол с вином,
где круглый лук сочился в заливном
и маслянился мозговой горошек,
и мысль пронзила: это скорбный сход,
когда я увидал блины и мед
и холодец из поросячьих ножек.

Они сидели как одна семья,
в одних летах отцы и сыновья,
и я узнал их, внове узнавая,
и вздрогнул, и стакан застыл в руке:
я мать свою увидел в уголке,
она мне улыбнулась как живая.

В углу, с железной миской, как всегда,
она сидела, странно молода,
и улыбалась про себя, но пятна
в подглазьях проступали все ясней,
как будто жить грозило ей — а ей
так не хотелось уходить обратно.

И я сказал: — Не ты со мной сейчас,
не вы со мной, но помысел о вас.
Но я приду — и ты, отец, вернешься
под этот свет, и ты вернешься, мать!
— Не говори, чего не можешь знать, —
услышал я, — узнаешь — содрогнешься.

И встали все, подняв на посошок.
И я хотел подняться, но не мог.
Хотел, хотел — но двери распахнулись,
как в лифте, распахнулись и сошлись,
и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,
быстрей, быстрей — и слезы навернулись.

И всех как смыло. Всех до одного.
Глаза поднял — а рядом никого,
ни матери с отцом, ни поминанья,
лишь я один, да жизнь моя при мне,
да острый холодок на самом дне —
сознание смерти или смерть сознания.

И прожитому я подвел черту,
жизнь разделив на эту и на ту,
и полужизни опыт подытожил:
та жизнь была беспечна и легка,
легка, беспечна, молода, горька,
а этой жизни я еще не прожил.

СОДЕРЖАНИЕ

Когда запеваёт бор	4
«Я сойду на последней странице...»	6
Прощанье со старыми тетрадями... .	8
Послевоенная баллада	14
«Седой учитель начальных классов...»	16
Позавчера	
1. Соседка	18
2. Семен Усуд	19
Проходная комната	22
Два стихотворения	
1. «...А в эти дни горели за Посадом...»	23
2. «А злоколючий пух чертополоха...»	24
«Черемуха из-под дождя...»	25
Весна на Клязьме (<i>По наброску Левитана</i>)	26
«Нет ничего ужасней вырожденья!...»	28
«Пусть те, кого оставил бог...»	30
Повествование о Курбском	31
Кончина Ивана	33
Superego	
I. «...и тогда я увидел: распята луна...»	35
II. «Било три. Ночь была на ущербе. В окне...»	36
III. «Нет у выбора...»	37
««Амурские волны» играет оркестр духовой»	38
Голоса	
1. Каховский	39
2. Чаадаев на Басманной	40
3. Батюшков	41
«...— И уж конечно буду не ветлоу...»	43

Фрески

1. «Когда пришло последнее свиданье...»	44
2. «...и почему-то вижу я...»	45
«Ночью проснется и в стену глядит...»	46
«Говорил, заговаривался, говорил...»	47
«...А бедный художник избрал слуховое окно...»	49
«Когда, как сто сорок, стручки акаций...»	50
«По артистической привычке...»	51
Праздник лета в Ереване	53
«Всю ночь, точил меня комар...»	55
«С горы сонливо тянутся сады...»	56
«Не холодно, а дует...»	58
Отрывок	59
Поэт и редактор (<i>В известном роде</i>)	62
«Отпела, отплясала и прошла...»	67
«Черемуха в овраге. Соловей...»	68
«Три раза в году цветет тамариск...»	69
«Вот женщина — и глаз не скосит...»	70
«...не может быть! — и сердце в колотыбе...»	71
«Никто никому не обязан...»	72
«Колючий воздух утреннего Крыма...»	74
За строкой исторической хроники	75
Воспоминание о застольях юности	78
«Прочел — и в белом зареве...»	80
Свои (<i>Из поэмы</i>)	81
Из старых тетрадей	
«Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий...»	98
«Этот город деревянный на реке...»	100
«Я не помнил ни бед, ни обид...»	101
«На окраине кладбища, где начинается поле...»	103
Обращение к шарманщику Шаво из кабачка «Бетани»	105
«Что там? Босой и сонный, выберусь из постели...»	107
Баллада о реставраторе	108
В паводок	110

Напоминание об Ивике	111
«Когда в поселке свет потух...» . . .	115
Осенины	117
«Еще помидорной рассаде...»	118
Похвала Державину	120
Барков	122
Дельвиг	124
«В нашем городе тишь да гладь...»	126
Велосипеды	128
«Река темнеет в белых берегах...»	131
«...и дверь впотьмах привычную толкнул...»	132

Олег Григорьевич Чухонцев

СЛУХОВОЕ ОКНО

М., «Советский писатель», 1983, 136 стр.

План выпуска 1983 г. № 221

Редактор *Е. Л. Храмов*

Худож. редактор *Д. С. Музин*

Техн. редактор *Ф. Г. Шапиро*

Корректор *Р. Г. Рагимова*

ИБ № 3809

Сдано в набор 14.06.83. Подписано к печати 31.08.83.
 А 04616. Формат 70×108 1/32. Бумага тип. № 1.
 Обыкновенная гарнитура. Офсетная печать. Усл. печ. л. 5,95.
 Уч.-изд. л. 4,08. Тираж 20 000 экз. Заказ № 435. Цена
 40 коп. Издательство «Советский писатель», 121069,
 Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союз-
 полиграфпрома при Государственном комитете СССР по
 делам издательства, полиграфии и книжной торговли,
 г. Тула, проспект Ленина, 109



40 к.

Г